Николай Николаевич Муравьев впервые увидел Задонск ранней осенью 1816 года, проездом на Кавказ, и тогда же в своем путевом дневнике записал:

«Из всех уездных городов понравился мне наиболее Задонск: он выстроен правильно и похож более на большую мызу богатого помещика. Он лежит на косогоре, с полверсты от реки Дона...»

Муравьев никак в то время не мог предположить, что случаю будет угодно, чтобы он двадцать с лишком лет, в том числе и последние годы своей жизни, прожил в Задонском уезде, близ так полюбившегося ему городка.

Николай Николаевич приезжал сюда всякий раз, когда приходилось покидать армию или просто когда хотелось отдохнуть от светской суеты, которая была ему чужда, но которую случалось наблюдать в столице, появляясь там на самое короткое время.

Размышляя над увиденным и пережитым, он неизменно оставался ярым противником самодержавия, крепостничества, солдафонства и бюрократизма и старался как-то противостоять отрицательным явлениям неустроенного общества.

На всю жизнь запомнилась расправа царя над декабристами, которым Муравьев всячески помогал и покровительствовал до последних дней своих. Нет, не жалел Николай Муравьев,

что избрал свободолюбивый образ мыслей, что судьба его соединилась с судьбами смелых, мужественных, честных, преданных высоким идеям и родному отечеству людей, — таких, каким он был сам. Нелегкий это путь жизни и борьбы. Он связан с жертвами. Но история, потомки поймут. Они скажут свое благодарное слово.

Как мы уже отмечали, Муравьев был соединен вторым браком с Натальей Григорьевной Чернышовой, родной сестрой Александрины, жены декабриста Никиты Муравьева. Из богатейшего чернышовского майората для Натальи Григорьевны было выделено село Скорняково в Задонском уезде, где проживало тогда свыше пятисот крепостных крестьян, существовали небольшая ткацкая фабрика, рыбные промыслы, но главным источником дохода было хлебопашество. Господа сюда не ездили, всем бесконтрольно распоряжался управляющий из вольноотпущенных крестьян Мокей Гапарин, жестокий и жадный плут, радевший только о своем хозяйстве и вконец разорявший крестьян.

Село производило самое неприглядное впечатление. Кособокие рубленые избенки, крытые гнилой соломой, утопали в непролазной грязи. Кое-как огороженные плетнями дворы и огороды, замазанные глиной катухи, чахлые лозины, под которыми играли одетые в тряпье босоногие ребятишки, — всюду выглядывала неприкрытая бедность. Выделялись лишь недавно построенная каменная церковь да несколько кирпичных пятистенок, принадлежавших зажиточным мужикам.

Муравьев переселился в Скорняково в конце мая 1839 года. Жить здесь было нелегко. Барская усадьба и сад находились в невероятном запустении, небольшой деревянный дом хотя и был к его приезду отремонтирован, но низкие, тесные, полутемные комнатушки с плохо оштукатуренными стенами действовали угнетающе.

А на деревню между тем надвигалось грозное стихийное бедствие... Второй год центральные губернии поражала страшная засуха. В конце мая поля были сожжены солнцем. Предстоял опять голод. Помещики оставляли своих голодающих крестьян на произвол судьбы, заставляли кормиться мирским подаянием, но могли ли Муравьевы поступить так бесчеловечно и уехать из деревни, оставив людей в беде? Вот первые записи, сделанные Муравьевым в Скорнякове:

«Скудная жатва, показавшаяся на полях, страшила уже поселян, как вдруг пожар в селе поразил всех ужасом. Это случилось ночью в конце июля месяца, когда весь народ был в поле. Надобно было выстроиться к осени, переселить несколько дворов, а всего более поддержать упавший дух в народе. Я купил лесу, возил его в самую рабочую пору, и удалось мне к осени выстроить 33 двора, что сопряжено, однако, было с чувствительным уроном доходов моих и в состоянии крестьян, пострадавших от огня. Я выбрал несколько семейств самых малонадежных к исправлению, перенес их ближе к полям и снабдил лошадьми и орудиями для работ. Место, где я поселил их, представляло большие выгоды в том отношении, что им не надобно было далеко ездить на работу, как здешним, у коих поля в восьми верстах от селения. Но там не было воды. Первые усилия мои для добывания оной были тщетны, вода в колодцах не показывалась, но мы наконец нашли ее. Я еще усилил воду построением плотины, и поселение, названное мною Пружинскими колодцами, сбылось...

А потом настала зима, зима холодная и без снега. Мы уже страшились лишиться семян, брошенных о землю осенью, и не имели достаточно продовольствия на зиму. Народ голодал. Надобно было выдавать хлеб и пособие. Толпы крестьян наполняли ежедневно контору; раздача производилась небольшими долями, чтобы была возможность продовольствовать их, до новой жатвы. Помимо того жена моя, руководимая одним движением сердца

своего, раздавала ежедневно печеный хлеб крестьянкам.

В течение всей зимы нас посетило новое бедствие: лошади, главное орудие крестьян, стали дохнуть; падеж продолжался с полугода и совершенно лишил нас сил к работе. Многие семейства обедняли до крайности, так, что они не могут даже обрабатывать собственных полей. А с началом весны появилась горячка, и после того распространилась цинготная болезнь, от которой погибло много народу. Я учредил два временных лазарета, в коих с пользой лечили больных и поставили на ноги многих изнеможенных до крайности болезнью. С появлением хорошей погоды болезни стали исчезать после больших опустошений, сделанных в отчине. Изнуренные, тощие люди на полуживых лошадях выходили в поле, где нужно было обращать более внимание на их собственные работы, чем на мой; не менее того, лишь небольшая часть крестьянских полей осталась незасеянною...»

Необходимо было прежде всего оказать существенную помощь крестьянам, как-то облегчить им жизнь.

Мокей Гапарин, к общей радости, был уволен и заменен уважаемым крестьянами бурмистром. Ткацкая фабрика полностью переведена на вольнонаемный труд. Введена небольшая денежная оплата за барские работы. На Лебедянской ярмарке закуплено более ста лошадей и сорок коров, розданных беднейшим крестьянам.

Все эти меры требовали средств, и на какой-либо доход с имения в первые годы не приходилось рассчитывать. Мало того, тратились последние скромные сбережения на постройку нового дома. Материальное положение Муравьевых ухудшалось.

Тем не менее подготовка к давно задуманному освобождению крестьян, что также требовало дополнительных затрат, продолжалась. Дело было нелегкое. Особо учрежденный комитет, разрешая помещикам частичное освобождение крестьян, ставил при этом множество всяких препятствий. А крестьяне к господским планам освобождения относились недоверчиво. Кто знает, не готовится ли им еще худшая участь? Приходилось долго и терпеливо разъяснять условия и договариваться о подробностях.

В дворянско-помещичьей же среде всякая попытка дать волю мужикам вызывала яростное возмущение.

Крупнейший землевладелец Задонского уезда помещик Савельев, узнав стороной, будто Муравьев намеревается освободить своих крестьян, приехал из своего Ксизова в Скорняково. Савельев был вежлив, дипломатичен, он начал с жалоб на своих крестьян, избивших приказчика и разграбивших амбар с господским хлебом.

— Да, случай, что и говорить, неприятный, — согласился Муравьев, — но, возможно, приказчик сам какими-то грубостями подтолкнул крестьян к бесчинству?

— Никак нет, почтеннейший Николай Николаевич. Зачинщики, схваченные полицией, признались, что они просто давно не ели чистого хлеба. Просто! Экие канальи, право!.. Да, — тяжело вздохнув и посмотрев искоса на Муравьева, продолжал Савельев, — начинается-то дело господской жалостью да поощрением мужиков, а кончается тем, что в один прекрасный день облагодетельствованные эти мужички с топорами и вилами на вас обрушатся! Вот-с как оно в жизни бывает!

— Ну, а если с другой стороны вопрос рассмотреть? — сказал Муравьев. — Вас, кажется, в поощрении крестьянам упрекать себя не приходится. И что же? Разве не может статься, что крестьянский бунт прежде всего вспыхнет именно у вас? А ведь генерал Бенкендорф при мне однажды говорил, что крестьянские волнения более всего вызываются жестокосердием владельцев. И даже в самых высших сферах, — поднял он для пущей убедительности палец, — раздаются благоразумные голоса, что лучше самим постепенно освобождать крепостных, чем дожидаться новой пугачевщины.

— Помилуйте, ваше превосходительство, как же это так получается? Отказаться от древних дворянских прав! Самим подрубать сук, на котором сидим! Ведь ежели мой сосед даст волю своим мужикам... это же великий соблазн всем другим.

— Повторяю, попробуйте взглянуть на дело с другой стороны, — наставительно произнес Муравьев. — Пора бы нашему дворянству отказаться от дедовских понятий и научиться мыслить в духе времени...

— Значит... простите, ваше превосходительство, за откровенный вопрос... слух, будто вы имеете намерение дать волю своим крестьянам, имеет основание?

— Это уж мое дело, я никому отчетом не обязан, — холодно отозвался Муравьев. — Но вам, как земляку и соседу, советовал бы собственного благополучия ради впредь быть более осмотрительным в отношениях со своими крестьянами... Иначе мало ли что может случиться!

— Да, уж если в высших сферах так рассуждать изволят, оно, конечно, там виднее... хотя странно, весьма странно, — заключил, вставая, Савельев.

Летом 1841 года первая партия скорняковских крестьян получила волю и одновременно хорошие земельные наделы.

Пробыв под надзором земской полиции в Скорнякове свыше десяти лет, Муравьев, как мы уже отмечали, вновь был призван на военную службу и, будучи назначен главнокомандующим кавказскими войсками, превосходно послужил своему отечеству. Без какой-либо военной поддержки и без правительственных субсидий в короткое время он сумел собрать сильный действующий корпус, воодушевить войска, подготовить оборону Грузии и, удерживая Шамиля от нападения, завладеть Ардаганом и Карсом. Кавказ был полностью освобожден от интервентов. Севастополь и другие города в Крыму и на Кавказском побережье, взятые союзными войсками, были возвращены России в обмен на занятые в тактических целях Муравьевым турецкие владения.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс высоко оценивали военные действия талантливого русского генерала.

«Без падения Карса не было бы пяти пунктов, не было бы ни конференции, ни Парижского мирного договора», — писал Маркс.

«Заканчивается третья удачная кампания русских в Азии, — писал Ф. Энгельс. — Карс и его пашалык завоеваны; Мингрелия освобождена от неприятеля; последний остаток турецкой действующей армии — армия Омер-паши — значительно ослаблен как в численном, так и в моральном отношении... И если сопоставить эти успехи и действительные завоевания с тем фактом, что союзники заняли Южную сторону Севастополя, Керчь, Кинбурн, Евпаторию и несколько фортов на Кавказском побережье, то станет ясно, что достижения союзников фактически не так уж велики, чтобы оправдать бахвальство английской печати».

Статьи о действиях генерала Муравьева появились не только в европейских, но и в американских газетах и журналах. Прогрессивные силы России встретили известие о взятии Карса с безграничной радостью и восхищением. Но сменивший на престоле Николая Александр Второй, ненавидевший Муравьева, назначил на его место своего друга детства и фаворита Барятинского. А Муравьев вышел в отставку и вновь поселился в Скорнякове.

Судя по дневниковым записям и переписке, долголетняя почти безвыездная жизнь в Скорнякове была для Муравьева самым счастливым временем.

Построенный им из тесаного камня новый двухэтажный дом стоял на взгорье, и с балкона открывался чудесный вид на неширокую в этих местах, но быструю и чистую реку и на полевые просторы Придонья. А с другой стороны терраса, обвитая густым диким виноградом, выходила из дома прямо в

сад, за которым начинался сосновый лес. Библиотека, насчитывавшая десять тысяч томов, одна из лучших в России, помещалась в особом каменном флигеле. Там же Муравьев устроил и свой кабинет, где всюду со стен смотрели суровые и веселые лица близких сердцу, и среди них, как упоминалось ранее, видное место занимали писанные масляной краской портреты Никиты Муравьева и А.С. Пушкина. А в углу, у стены, стояла самая драгоценная реликвия — старинное бюро из красного дерева, некогда принадлежавшее сочинителю и поэту Михаилу Никитовичу Муравьеву, а затем его сыну Никите, который за этим бюро писал революционный катехизис и первую российскую конституцию декабристов. Никита скончался в сибирском изгнании, и мать его, Екатерина Федоровна, подарила бюро Николаю Николаевичу, как лучшему и верному другу сына.

Муравьев любил уединяться в кабинете, здесь готовил он книгу о путешествии в Турцию и Египет, приводил в порядок дневниковые записи и, говоря уже на десяти языках, продолжал изучать еще латинский и древнееврейский.

Но большая часть его времени уходила на дела по управлению жениным имением и на всякие изыскательские и опытные работы, которыми он увлекался. Николай Николаевич производил археологические раскопки близ Скорнякова, искал каменный уголь, устраивал искусственное орошение, сажал леса, помогал крестьянам разводить сады. Сельскую тихую и размеренную жизнь Муравьев предпочитал беспокойной жизни в шумных городах. Ему полюбились привольные придонские места, он безотчетно наслаждался природой, легким утренним туманом над рекой, грибной свежестью в лесу, нежными летними закатами и золотым осенним листопадом.

В Скорнякове собирались бывшие декабристы. Приезжали Александр Муравьев и Захар Чернышов, шурин Муравьева, возвращенный с каторги, и Евдоким Лачинов, отбывший тяжелую солдатчину. Бывал в Скорнякове и Ермолов.

И все же жизнь Муравьева здесь не была безоблачной идиллией. Демократический сентиментализм, свойственный ему, в соприкосновении с действительностью дал небольшую трещину. Муравьев не мог не заметить, что гуманизм и благожелательное отношение отдельных лиц к крестьянам насущных вопросов их жизни решить не могли. Староста и приказчики продолжали если не открыто, то тайно притеснять мужиков незаконными поборами, крепкие хозяева гнули в дугу маломощных, и каждый недород, который случался почти ежегодно, отражался на деревне самым бедственным образом.

Деревенский дневник Муравьева полон горькими заметками:

«Бедные крестьяне изнемогают под бременем несчастий... Появившаяся от плохого питания цинготная болезнь свирепствует во всех окрестностях, производя страшное опустошение. У нас в марте умерло 25 душ, а в одном из соседних казенных селений жители семи дворов вымерли до последнего. Ужасны страдания народа. Пособия, делаемые мною больным, недостаточны».

Муравьев понимал, что нужны широкие преобразовательные реформы, правительственная помощь народу, однако в то время надеяться на это не приходилось.

Николай Николаевич часто приезжал в Задонск. Он останавливался у своего поверенного, или стряпчего, как их тогда называли, Ивана Ивановича Иванова, а иногда у настоятеля монастыря архимандрита Досифея. Задонские старожилы еще помнили, как старый, начавший сутулиться генерал проходил по городу, опираясь на палку, причем особенно любил бывать на Дону, где так чудесны тихие предзакатные летние вечера и где, по выражению задонских стариков, душа отдыхает.

Последние годы жизни Муравьев провел в Скорнякове, где и скончался от воспаления легких 23 октября 1866 года, завещав похоронить его как можно скромнее в тихом Задонске.

Муравьев жил в жестокое время, в сибирской каторге погибли его друзья и единомышленники; сам он долго находился под строгим надзором, и обстоятельства вынуждали его к осторожности. Поэтому он не мог в своих «Записках» сказать всего, что хотелось, приходилось многое замалчивать, о многом говорить иносказательно, выказывая иной раз наружное уважение лицам, которые «уважения не заслуживали».

Он хотел, чтобы потомки приняли, при каких обстоятельствах делались им записи, и чтоб события, вынужденно им затушеванные, были добросовестно обнаружены в их подлинном виде. Он напомнил об этом и в своей последней дневниковой записи.